ЛИДИЯ БАКУЛИНА

ЛАТЕНТ

роман

«Вы всё ещё думаете, что вас выбрал муж?»

Лидия Бакулина

Латент

https://litres.ru/74618258
SelfPub; 2026

Аннотация

Тонкое и необычное сочетание различных тем задаёт книге особую атмосферу психологической драмы, остросюжетного детектива и триллера. Основной акцент в книге сделан на том, как скелеты из прошлого и тайны близких людей могут в один момент разрушить благополучную реальность.

Сюжет строится вокруг главной героини Александры Морозовой — реставратора графики и жены наследника крупной логистической империи. Её счастливая и размеренная жизнь переворачивается после гибели подруги детства, которая перед смертью успевает оставить Саше загадочную коробку с детскими анкетами, фотографиями и списком фамилий, где фигурирует и её собственный муж.

Пытаясь разобраться в том, что скрывала подруга, Александра начинает собственное расследование. Ей приходится столкнуться с оборотной стороной жизни своей семьи — и выбирать между безопасностью и правдой.

Содержание

Глава 4
Пролог. За семью 5
Часть I. Совпадение 10
Глава первая. Утка с айвой 13
Глава вторая. Троекуровское 32
Глава третья. Коробка 47
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Лидия Бакулина
Латент

Глава

Лидия Бакулина
ЛАТЕНТ
роман

Куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом.
— Книга Руфь, 1:16
Латентный(от лат. *latens*— скрытый, невидимый) — существующий, но внешне не проявляющийся.

Пролог. За семью

Сентябрь 2044 года

К восьми часам стол раздвигают до последней доски. Так его раздвигали при Софье Львовне — на Рождество, на Пасху и в день рождения Сергея Андреевича, — и теперь, когда её нет уже четвёртый год, Миша всё равно лезет в кладовку за двумя дубовыми вставками, которые хранятся отдельно, завёрнутые в старую скатерть, как хранят вещь ценную и неудобную.

— Мам, где шпонки? — кричит он из темноты.

Шпонки лежат в верхнем ящике буфета, в жестяной коробке из-под чая, вместе с запасными свечами и гарантийными талонами на технику, которой давно нет. Я знаю, где в этом доме лежит каждая вещь. Иногда мне кажется, что это единственное, в чём я уверена до конца.

Дом в Раздорах мы так и не продали. Были годы, когда его хотели продать все, и я тоже, но всякий раз находилась причина подождать: Миша поступал, Алиса уезжала, у Семёна болела спина, у меня не было сил разбирать антресоли. Дом пережил эти разговоры. Сосны за террасой стали выше. Лиственничные доски потемнели и в дождь пахнут, как пахли в первую осень: смолой и мокрой собакой, хотя собаки у нас нет уже восемь лет.

Алиса прилетела из Женевы утром и до обеда спала в сво-

ей старой комнате, под плакатом, который не разрешает снимать. Сейчас она режет хлеб, как всегда слишком толсто, и рассказывает Ане про какого-то клиента, который требует, чтобы его называли по имени-отчеству даже в переписке. Аня смеётся. Аня вообще легко смеётся. Их с Мишей дочь, моя внучка, сидит на высоком стульчике и сосредоточенно возит по подносу варёную морковь. Ей два года, и зовут её Вера, в честь моей мамы. Это придумал Миша, я не просила. Я плохо умею просить; двадцать лет учусь и до сих пор не уверена, что научилась.

Семён открывает вино. Он делает это долго, с тем же лицом, с каким когда-то читал квартальную отчётность, будто пробка может оказаться не той, что заявлена. Ему пятьдесят шесть. Он поседел почти сразу, в один год, и теперь, когда стоит у окна против света, похож на своего отца сильнее, чем хотел бы.

— Сядь, — говорит он мне. — Ты третий раз переставляешь соль.

Я сажусь.

За столом нас шестеро, если считать Веру, и седьмой стул пустой — тот, что у торца, ближе к камину. На него никто не садится. Об этом не договаривались, так вышло, и я не стала ничего менять. На этом стуле тридцать лет сидел Сергей Андреевич, ещё в Николине, потом, недолго, Софья Львовна, а после стул так и остался стоять — с гобеленовой подушкой, продавленной по чужой фигуре.

Мы едим. Алиса спорит с отцом о какой-то новости, Семён отвечает ей коротко и с удовольствием, как отвечают человеку, которого любят и не боятся. Миша молчит, кормит дочь, изредка поднимает на меня глаза. У него взгляд деда: внимательный, тяжеловатый, будто он всё время что-то взвешивает. В детстве он был похож на отца. С годами в нём проступило то, что раньше было скрыто, — так проступает на старой бумаге водяной знак, когда поднимаешь лист к лампе.

Когда приносят утку, Миша встаёт. Он всегда встаёт, когда говорит тост, — тоже от деда.

— Я коротко, — говорит он. — Двадцать лет назад, мама, ты говорила, что в этом доме слишком много тостов и слишком мало разговоров.

— Я так говорила?

— Говорила. Поэтому я один раз. — Он поднимает бокал, и все поднимают за ним, даже Вера, у которой в кулаке зажата ложка. — За семью.

— За семью, — говорит Семён.

— За семью, — повторяет Алиса и смотрит на меня поверх бокала.

Я поднимаю свой.

На столе, рядом с моей тарелкой, вибрирует телефон. Экран загорается, и на нём нет имени — только номер, длинный, с незнакомым кодом. Двадцать лет назад я бы не ответила. Теперь я отвечаю всегда. Когда-то я пообещала себе, что не стану больше делать вид, будто меня нет, и с тех пор это

обещание стоило мне множества бессмысленных разговоров с банками, социологами и людьми, которые хотели продать мне окна.

— Простите, — говорю я и встаю.

Семён приподнимает бровь. Я качаю головой: ничего, сейчас.

На террасе холодно и темно. Внизу, за соснами, река, которой не видно, но слышно, если не шевелиться. Я прикрываю за собой дверь локтем, и голоса в столовой сразу становятся неразборчивым гулом — так звучит любая семья, если слушать её снаружи.

— Да, — говорю я.

Несколько секунд в трубке ничего нет, только шум, будто человек на том конце стоит у открытого окна или на улице. Потом женский голос, молодой и хорошо поставленный, произносит моё имя, отчество и фамилию. Полностью. Так ко мне давно никто не обращается.

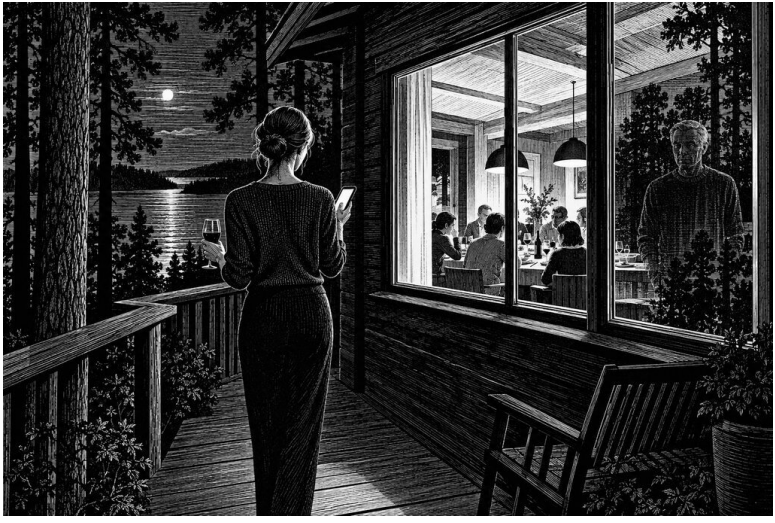
— Да, это я. Кто это?

Она не отвечает на вопрос. Она говорит, отчётливо разделяя слова, словно знает, что я буду потом повторять их про себя, и хочет, чтобы я запомнила точно.

— Вы всё ещё думаете, что вас выбрал муж?

Я стою на террасе с бокалом в одной руке и телефоном в другой. Вино я так и не выпила. За стеклом Алиса что-то говорит Ане, и Аня опять смеётся, запрокинув голову. Семён смотрит в мою сторону, но меня он, наверное, не видит:

в столовой светло, а на террасе темно, и в окне ему видна только комната и он сам.



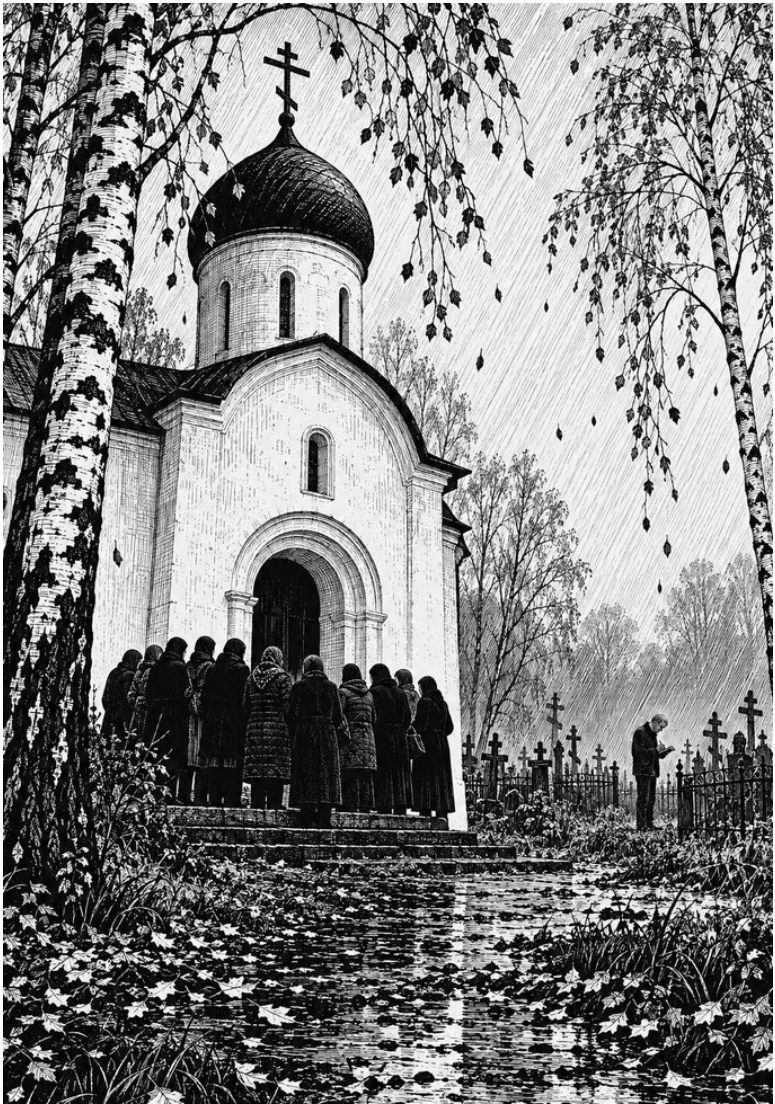
Терраса

Я открываю рот, чтобы ответить, и понимаю, что не знаю, какой из моих ответов правдивый.

В трубке короткие гудки.

Двадцать лет назад

Часть I. Совпадение



Часть I. Совпадение

Глава первая. Утка с айвой

В субботу вечером я выключала телефон. Это было единственное правило, которое я завела в нашем доме сама, без подсказок, и Семён над ним посмеивался, но соблюдал: с восьми вечера субботы до воскресного обеда в Раздорах не было ни писем, ни звонков, ни школьных чатов, ни сводок с терминалов. Если что-то случится, говорила я, нас найдут через охрану посёлка. За шесть лет через охрану нас так никто и не искал. Ничего не случалось.

В то воскресенье, двадцать девятого сентября, я проснулась в половине седьмого, как просыпалась всегда, без будильника, и какое-то время лежала, не открывая глаз, и слушала дом. Дом был деревянный, на высоком каменном цоколе, и по утрам он говорил: что-то потрескивало в перекрытиях, когда остывала за ночь лестница, гудела в подвале насосная станция, на кухне вздрагивал холодильник. Наверху, в детской, кто-то перевернулся на другой бок и стукнул пяткой о стену — Миша, он и во сне воюет с одеялом. Алиса спала тихо, как спят коты.

Семён лежал на спине с планшетом на груди. Он думал, что я сплю, и листал что-то с лицом мальчика перед витриной с моделью паровоза, которую ему всё равно не купят.

— Ты не спишь, — сказал он, не поворачиваясь.

— Не сплю.

— Тогда смотри. Только не говори сразу, что дорого.

Он повернул ко мне экран. На экране был дом — светлый, низкий, с плоской кровлей и длинной стеклянной галереей, которая соединяла два крыла, как перемычка соединяет две буквы. Вокруг дома архитектор нарисовал сосны, лужайку, тонких людей с собакой и почему-то двух лошадей.

— Лошади не входят, — сказал Семён. — Лошадей он нарисовал для настроения.

— Это тот участок у реки?

— Тот. Отец его отдал ещё весной, я тебе говорил. Я не хотел показывать, пока не будет нормального проекта. Это четвёртый вариант. Три я выбросил. — Он пролистал дальше: план первого этажа, второго, разрез. — Здесь будет мастерская. Смотри, северный свет, окна до пола. Ты сможешь работать дома, а не мотаться в Лаврушинский по пробкам. Здесь Мишина комната, здесь Алисина, а это, — он ткнул в маленький квадрат у галереи, — это моё. Я буду сидеть там и ничего не делать.

— Ты не умеешь ничего не делать.

— Научусь. У меня будет комната специально для этого.

Я взяла у него планшет и стала смотреть внимательно, как смотрю на лист, который принесли на реставрацию: сначала целиком, на расстоянии, потом по углам, потом против света. Дом был хороший. Архитектор понимал, что такое тишина, и не пытался её украсить. Но в плане было что-то, что меня беспокоило, и я не сразу поняла что.

— Он очень большой, Сём.

— Он нормальный. Это наш дом маленький.

Наш дом не был маленьким. Наш дом был как раз такого размера, чтобы в нём можно было потерять ребёнка на десять минут, и не больше. Я сказала это вслух, и Семён засмеялся.

— Там тоже нельзя будет никого потерять. Я поставлю датчики. — Он забрал у меня планшет и положил его на тумбочку экраном вниз. — И ещё. Отец хочет, чтобы дом был оформлен на тебя.

— На меня?

— На тебя. Земля, дом, всё. Он считает, что так правильнее. Если с компанией что-то случится, дом никто не тронет. Он всегда так делал. Дача в Юрмале тоже была на маме, пока её не продали.

— Не надо на меня, — сказала я.

— Почему?

Я не знала почему. Я знала только, что не хочу этого и что, если сейчас начну объяснять, получится, будто я набиваю себе цену и жду, чтобы меня уговаривали. Поэтому я сказала, что подумаю, и Семён, который хорошо меня знал, понял это как «да» и не стал спорить. Он ушёл в душ, а я смотрела в потолок, где по краю, у карниза, тянулась тонкая трещинка в краске, которую я уже два года собиралась кому-нибудь показать.

* * *

К обеду мы поехали в Николино.

Семён вёл сам. Водитель по воскресеньям отдыхал, а Семён любил водить и по дороге всегда становился разговорчивее, чем дома, будто руль давал его рукам занятие, а голове — разрешение. Миша сидел сзади с шахматной задачей в телефоне и бормотал ходы. Алиса потребовала платье с вишнями, потому что «у бабушки праздник», хотя никакого праздника у бабушки не было, и теперь, нарядная, в колготках, которые были ей велики, она смотрела в окно и пела без слов.

— Отец что-то задумал, — сказал Семён на мосту через Москву-реку.

— Почему ты так решил?

— Потому что утка с айвой. Мама делает утку с айвой, только когда отец просит. А отец просит утку, когда хочет что-нибудь объявить. Когда Кирюху ставили на порты — была утка. Когда продавали самарский терминал — утка. Когда я сказал, что женюсь, — он покосился на меня, — была курица. Это о чём-то говорит.

— Это говорит о том, что тебя тогда не очень серьёзно воспринимали.

— Меня и сейчас не очень серьёзно воспринимают. — Он сказал это легко, но пальцы на руле сжались и разжались. — Кирюха вчера звонил. Спрашивал, не знаю ли я, что будет за обедом. Я сказал, что не знаю. Он не поверил.

— А ты знаешь?

— Догадываюсь. Юристы на днях закончили аудит «Транс Логистикс». Если он скажет то, что я думаю, Кирюха будет есть утку молча. А потом позвонит мне вечером и будет говорить, что рад за меня. И это будет хуже всего.

За поворотом начинался сосновый лес, и асфальт становился таким гладким, что колёса переставали шуметь.

Дом Вейнов в Николине строил в девяносто восьмом году голландский архитектор, о котором Сергей Андреевич до сих пор говорил с уважением, как о хорошем хирурге. Тёмный клинкерный кирпич, высокая крыша, окна в мелкую расстекловку. Ничего лишнего. Внутри — дуб, сукно, книги, ковры, которые никто не называл персидскими, хотя они были персидские. В этом доме не было ни одной вещи, купленной для того, чтобы её заметили. Когда я впервые сюда попала, мне было двадцать три, и я подумала, что так, наверное, выглядит дом человека, который больше всего боится показаться смешным. Потом я узнала Сергея Андреевича лучше и поняла, что он не боялся ничего, кроме одного: что кто-нибудь когда-нибудь возьмёт у него то, что он сделал сам.

Софья Львовна встретила нас в холле. Она всегда встречала сама, даже когда в доме была прислуга, и всегда стояла одинаково: прямо, сложив руки, чуть наклонив голову, будто слушала, как настраивают рояль в соседней комнате.

— Алиса, — сказала она, — какое у тебя платье.

— С вишнями, — сказала Алиса.

— Я вижу, что с вишнями. Иди сюда, у тебя колготки съе-

хали. Саша, они ей велики.

— Я знаю.

— Ты знаешь, и всё равно. — Она поправила Алисе колготки быстрыми, точными движениями пианистки, поцеловала её в макушку и только после этого подставила щёку мне. — Здравствуй. Ты бледная.

— Я всегда бледная, Софья Львовна.

— Не всегда. Летом ты была нормальная.

Это была её манера. В первые годы она меня пугала, потом злила, а потом я научилась переводить: за «ты бледная» стояло «я рада тебя видеть», а за «колготки велики» — «я думала о вас всю неделю». Семён так и не научился, и мне иногда казалось, что за тридцать шесть лет он не услышал от матери ни одного ласкового слова, хотя она говорила их ему постоянно.

Кирилл с Кристиной и детьми были уже в гостиной. Кирилл стоял у окна с телефоном и, увидев брата, кивнул ему коротко, как кивают коллеге в лифте. Кристина поцеловала меня в воздух возле уха и сказала, что я прекрасно выгляжу. У нас с ней давно сложились отношения людей, которые договорились ничего друг от друга не хотеть. Их мальчики, двенадцати и десяти лет, утащили Мишу наверх смотреть какую-то приставку. Алиса побежала за ними, её не взяли, и она села на ковёр у ног бабушки с видом оскорблённой королевы.

Ника пришла последней, с Лёвой на руках. Ника — дочь

покойного Бориса Андреевича, старшего брата свёкра, и она всегда приходила последней, словно проверяла, ждут ли её. Её ждали. Сергей Андреевич относился к ней с осторожной, немного неловкой нежностью, с какой относятся к ребёнку человека, перед которым остались виноваты, хотя я никогда не знала, в чём именно. Ей было двадцать восемь, она сидела в совете директоров холдинга и, по словам Семёна, была там единственным человеком, который читает материалы заранее.

— Саша, — сказала она мне, — возьми его на минуту, у меня рука затекла.

Я взяла Лёву. Он был тяжёлый, тёплый и пах печеньем. Он внимательно посмотрел мне в лицо, решил, что я не опасна, и вцепился в мою цепочку. Под свитером у меня висел кулон — маленький серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле, — и Лёва вытащил его наружу и потянул в рот.

— Нельзя, — сказала Ника. — Лёва, нельзя, это тётино.

— Ничего, — сказала я и аккуратно разжала маленький кулак. — Он серебряный. Его можно.

Сергей Андреевич спустился ровно в два, и все пошли к столу.

* * *

Утка была с айвой.

Я видела, как Семён, отодвигая стул, встретился глазами с братом и как Кирилл первым отвёл взгляд. Софья Львовна раскладывала сама. Свёкор сидел во главе, в тёмно-синем

свитере поверх рубашки, — тяжёлый, широкий, с коротко остриженной седой головой и неподвижным лицом. Он ел не торопясь, со вкусом. Он вообще всё делал со вкусом: ел, молчал, сердился. Семён однажды сказал, что отец — единственный человек на свете, который умеет молчать с интонацией.

Первые полчаса говорили о детях, о погоде, о соседе, который судился с посёлком из-за забора, о том, что Кристина снова хочет перестраивать кухню. Сергей Андреевич слушал, изредка вставлял слово. Миша, вернувшийся сверху, рассказывал деду про шахматный турнир, и дед задавал вопросы, которые ставили Мишу в тупик: «А почему ты не взял слона? А если бы взял?» — и Миша думал, морща лоб, совершенно серьёзно, словно от ответа что-то зависело. Я смотрела на них и думала, что Миша, наверное, единственный человек в этой семье, с которым Сергей Андреевич разговаривает, не проверяя.

Потом подали чай, и свёкор положил ладонь на скатерть.

Он не стучал вилкой по бокалу, не вставал. Он только положил ладонь, и все замолчали — даже Алиса.

— Аудит закончили в пятницу, — сказал Сергей Андреевич. — По «Транс Логистикс». Я читал. Компания в порядке. Лучше, чем я думал. В основном потому, что последние три года ею занимался Семён, а не я.

Семён не шевельнулся. Только у меня под ладонью, на его колене, напряглась мышца.

— С января Семён — генеральный директор. Председатель совета — тоже он. Я остаюсь в холдинге и в совете «РузМакс ХФ», а «Транс Логистикс» больше не моё дело. Документы юристы подготовят к декабрю. Порты остаются за Кириллом. Это не обсуждается. И это не кость ему кинули. Порты — это половина денег.

— Я понял, отец, — сказал Кирилл.

— Я знаю, что ты понял. Я говорю для остальных.

Софья Львовна сидела очень прямо. Кристина смотрела в чашку. Ника, единственная, улыбнулась — открыто, широко — и сказала: «Сёма, поздравляю», — и после этого все тоже заговорили, задвигались, кто-то засмеялся, Алиса спросила, что такое генеральный директор, и Миша, страшно гордый, объяснил ей, что это главный. «Главнее дедушки?» — спросила Алиса, и все засмеялись снова, а дед сказал: «Главнее, Алиса. Но ты ему этого не говори».

Семён не сказал ничего. Потом наклонился ко мне и сказал так, что слышала только я:

— Я думал, он скажет это лет через пять.

— Он сказал сейчас.

— Да. — Семён выдохнул. — Да.

Сергей Андреевич поднял рюмку. В Николине пили за столом мало, но по таким дням полагалась одна рюмка, и Софья Львовна заранее ставила графин, хотя никто никогда его не допивал.

— Я не умею говорить тосты, — сказал свёкор. Он гово-

рил это каждый раз — и каждый раз произносил короткий тост, который потом все пересказывали. — Тридцать два года назад мы с Борей купили два грузовика в Рузе. Один сломался через неделю. Боря говорил, что это знак. Я говорил, что это грузовик. Я не про бизнес. Бизнес — это так, колёса. Я про то, что всё, что у нас есть, — оттого, что за этим столом друг друга не бросают. Ни в девяносто восьмом, ни в восьмом, ни сейчас. Что бы ни было. — Он поднял рюмку выше. — За семью.

— За семью, — сказали все.

Я подняла бокал с вишнёвым соком — я не пила в тот день, потому что обратно должна была вести я, — и в эту секунду в сумке у меня под стулом зажужжал телефон.

Я включила его в машине, чтобы посмотреть школьный чат: в понедельник у Миши был турнир, и учитель обещал прислать расписание. И забыла выключить. Телефон жужжал длинно, настойчиво, и Софья Львовна, не поворачивая головы, посмотрела на меня краем глаза.

— Извините, — сказала я.

На экране было: *Майя*.

Майя звонила мне каждую неделю, иногда чаще, но никогда в воскресенье днём. Воскресенье она считала днём семьи — моей семьи — и всегда говорила: «В воскресенье я тебя не трогаю, у тебя свои». Я вышла через стеклянную дверь в сад.

* * *

— Сашенька, — сказала Майя. — Ты где?

— В Николине. У Вейнов. Что-то случилось?

У Майи был голос, который я узнала бы среди тысячи других: низкий, поставленный голос женщины, которая тридцать лет учила девочек говорить и ни разу на моей памяти не повысила его. В этом голосе никогда не бывало пустот. А теперь была пустота, длинная, секунды на три, и я, ещё ничего не зная, почувствовала, как у меня мёрзнут пальцы на свободной руке.

— Ты сидишь?

— Я в саду. Майя, что?

— Даша, — сказала она. — Даша Круглова. Сегодня ночью. Она разбилась на машине, Сашенька. На Новорижском, под Истрой. Её больше нет.

В саду у Вейнов росли старые яблони, которые остались от прежних хозяев участка, и Сергей Андреевич не дал их выкорчевать, хотя архитектор настаивал. Яблоки в этом году уродились мелкие, кислые, их никто не собирал, и они лежали в траве, и над ними гудели осы. Я смотрела на ос.

— Как разбилась?

— Ночью. Она была одна. Вылетела с дороги, был дождь. Мне позвонили в девять утра из полиции — у неё в телефоне я записана как… — Майя запнулась. — Как «Майя, если что». Представляешь? «Если что». Пять лет не брала трубку, а записала так.

— Она… — Я не знала, что спросить. — Сразу?

— Сразу. Мне сказали, что сразу. Она не мучилась.

Я села на скамейку у яблони. Скамейка была мокрая после ночного дождя, и я почувствовала, как сырость проходит сквозь брюки, и подумала, что надо встать, и не встала.

Даша. Дашка. Мы прожили в одной комнате на Пречистенке восемь лет, с того дня, когда её привезли — десятилетнюю, худую, остриженную под мальчика, в чужой куртке, — и она в первый же вечер сказала мне, что, если я буду храпеть, она меня задушит подушкой. Я не храпела. Она меня не задушила. Она была самым смешным, самым злым и самым красивым человеком, которого я знала. Она первой из нашего выпуска вышла замуж, первой родила, первой развелась — с грохотом, с адвокатами, с фотографиями в журналах — и первой ушла от нас насовсем, так что последние пять лет я узнавала о ней из чужих разговоров. Последний раз я видела её полтора года назад в фойе Консерватории. Она шла мне навстречу в красном пальто, худая, как в десять лет, и, поравнявшись, сказала, не останавливаясь: «Ну что, отличница. Всё по плану?» — и прошла. Я тогда подумала, что она пьяна. Потом подумала, что нет. Потом перестала думать.

— Отпевание во вторник, — говорила Майя. — На Троекуровском, в одиннадцать. Арсений Анатольевич всё организует, он уже звонил. Елена Аркадьевна просила, чтобы девочки были. Все, кто сможет. Она очень хочет, чтобы Дашу проводили по-человечески. Она всё-таки наша.

— Я буду.

— Я знаю, что будешь. — Голос у неё дрогнул и тут же

выровнялся. — Ты прости, что я в воскресенье. Я не могла ждать.

— Майя, что ты.

— Обними детей. Скажи Сёме. И не садись сегодня за руль, слышишь? Пусть Сёма ведёт.

Она отключилась. Я сидела на мокрой скамейке и держала телефон в руке, и экран погас, а потом, когда я нажала на кнопку, загорелся снова, и я увидела то, чего не заметила в машине, когда смотрела школьный чат.

Внизу, под значком сообщений, стояла единица.

Сообщение было от Даши. Отправлено в субботу, в 23:52.

Я открыла его.

Если когда-нибудь начнёшь задавать вопросы, не спрашивай, что они сделали. Спроси, что они вообще считают преступлением.

Больше ничего. Ни «привет», ни подписи. Над этим сообщением в переписке было предыдущее, моё, двухлетней давности, на её день рождения: «Даш, с днём рождения. Я тебя люблю, ты знаешь». Она тогда не ответила. А в субботу, без восьми минут полночь, за два часа до того, как вылететь с дороги под Истрой, она ответила вот этим.

Я прочитала его два раза. Потом третий.

Они. Я сразу подумала о Салтыковых. Весь прошлый год Даша судилась с бывшим мужем из-за Тимофея: Салтыковы хотели отправить мальчика в школу в Англии, с пансионом, как когда-то отправили самого Арсения Анатольевича,

а Даша не хотела и бегала по судам с двумя адвокатами, и об этом писали, и мне рассказывала Катя Новикова, которая знала всё обо всех. Говорили, что у Салтыковых юристы, каких нет в администрации президента. Говорили, что Даша проигрывает. Говорили, что она пьёт. Я представила, как она сидит ночью в своём доме под Истрой, после очередного заседания или письма, и пишет мне, единственному человеку из прошлой жизни, которому, может быть, ещё можно было написать. «Спроси, что они вообще считают преступлением». Отнять ребёнка у матери и отправить за море — по закону. Всё по закону.

Я напечатала: «Даш, ты о чём?»

Посмотрела на это. Стёрла.

Напечатала снова и отправила. Под сообщением появились две серые галочки: доставлено. Её телефон лежал где-то — в полиции, в пакете для вещественных доказательств, в разбитой машине на штрафстоянке, — и принял моё сообщение, и молчал.

* * *

Когда я вернулась в столовую, все сразу посмотрели на меня. Семён встал.

— Даша Круглова погибла, — сказала я. — Ночью. Разбилась на машине.

Кристина сказала: «Господи». Кирилл нахмурился, вспоминая, кто это. Софья Львовна поставила чашку на блюдце аккуратно, без звука, и я увидела, как дрогнула у неё рука.

Она знала Дашу — немного, по благотворительным вечерам фонда, по нашей свадьбе. Даша на нашей свадьбе танцевала со всеми подряд и в конце концов уговорила Сергея Андреевича станцевать с ней вальс, и он станцевал, неуклюже и серьёзно, а Софья Львовна смотрела на это из-за стола с выражением, которого я тогда не поняла.

— Это та, рыжая? — спросил Сергей Андреевич.

— Она перекрасилась, — сказала я. — Давно. Да. Та.

— Чем помочь?

Я сказала, что ничем, что похороны организует бывший муж, что во вторник отпевание. Про сообщение я не сказала. Больше свёкор ничего не спрашивал.

Семён усадил меня рядом с собой. Алиса не понимала, что случилось, но понимала, что что-то, и вела себя тише обычного. Миша, наоборот, понял всё и смотрел на меня так, как смотрит на шахматную доску, когда противник сделал непонятный ход.

Обед продолжался. Никто не знал, что делать, а встать и уйти от стола, где только что подняли рюмки за семью, было нельзя. Подали десерт. Софья Львовна сама разрезала пирог. Кирилл заговорил с отцом про Усть-Лугу, про немецкие краны, которые застряли где-то на таможне, и Сергей Андреевич отвечал ему коротко, а Семён молчал и гладил большим пальцем мою ладонь. Кристина рассказывала Нике про новую кухню. Лёва уснул у Ники на руках. Было тепло, пахло айвой, корицей и сукном, в окна било низкое осеннее

солнце, и на скатерти лежали пятна света, в которых медленно поворачивались пылинки.

Я смотрела на эти пятна света и думала, что вот сейчас, в эту самую минуту, Даша лежит где-то в морге, в холодном ящике, с биркой на ноге, а мы едим пирог. И что это нормально. И что так и будет: мы доедим пирог, поедем домой, я уложу детей, Семён позвонит кому-нибудь насчёт терминала, а в понедельник у Миши турнир. И что этот нормальный порядок вещей, за который я была благодарна каждый день своей жизни, вдруг показался мне тоньше бумаги.

Перед отъездом, в холле, Софья Львовна подала мне пальто. Она никогда этого не делала.

— Я её помню, — сказала она. — На вашей свадьбе. Она очень хорошо танцевала.

— Да.

— Ты приезжай, если что. Одна. Без него. — Она кивнула в сторону Семёна, который на крыльце застёгивал Алисе куртку. — Посидим.

Я сказала, что приеду, и она поправила мне воротник быстро и точно, как поправляла Алисе колготки, и отвернулась.

* * *

Домой вёл Семён. Дети уснули через десять минут: Миша привалился к окну, Алиса — к брату. По Рублёвке тянулся воскресный поток, фары встречных машин уже горели, хотя было ещё светло.

— Ты как? — спросил Семён.

— Не знаю.

— Вы же давно не общались.

— Пять лет.

— Ну вот. — Он понял, что сказал не то. — Я не в том смысле.

— Я знаю, в каком ты смысле.

Мы проехали мост. Под мостом река была серой, как олово, и по ней шёл маленький белый катер с флажком.

— Она прислала мне сообщение, — сказала я. — Вчера, ночью. За два часа.

— Какое?

Я прочитала ему вслух.

— Это про Салтыковых, наверное, — сказал он. — Она же с ними судилась?

— Судилась.

— Ну вот. Арсений — нормальный мужик, но там папаша. Старший Салтыков. Я с ним сидел однажды в одном совете, это… это человек, который никогда ничего не нарушает. У него для этого сорок юристов.

— Вот и она так, — сказала я. — Про закон.

— Про закон, — согласился Семён. — Слушай. Я понимаю. Ты думаешь, что могла что-то сделать, ответить ей раньше. Но ты спала. У тебя был выключен телефон. Это правило, Саш, ты сама его придумала. Ты не виновата.

Я не думала, что виновата. Я думала о другом, но не мог-

ла бы объяснить о чём. О том, что Даша написала «они» и я сразу решила, что знаю, кто это. О том, как легко было решить. О том, что «начнёшь задавать вопросы» — это не про суд и не про Тимофея, это про меня, про то, что я когда-нибудь начну. Она была в этом уверена. А я не понимала, о каких вопросах речь, потому что у меня не было никаких вопросов. Ни одного. У меня было всё.

— Я не виновата, — сказала я.

— Вот.

Дома я переодела спящую Алису в пижаму, не разбудив, — у меня это всегда получалось лучше, чем у Семёна, — укрыла Мишу, который во сне сказал что-то про слона, и спустилась на кухню. Марьяна по воскресеньям не работала, и на кухне было пусто и чисто. Я поставила чайник. Достала из буфета белую лиможскую чашку из сервиза, который Софья Львовна подарила нам на первую годовщину со словами: «В машине не мыть, Саша. Стопкой не ставить. И он переживёт и нас, и детей». Тогда мне показалось, что это экзамен. Потом — что это благословение. Теперь, в пустой ночной кухне, я подумала, что это была просто фраза.

Чайник закипел и щёлкнул. Я не стала наливать.

Наверху скрипнула ступенька. Миша стоял на лестнице в пижаме, босиком, щурясь на свет.

— Мам, — сказал он. — А тётя Даша — это которая подарила мне ракету?

Ракету Даша подарила ему на два года. Огромную, пласт-

массовую, с кнопкой, которая запускала оглушительный звук взлёта. Это был последний раз, когда она была у нас дома. Ракета сломалась через месяц, но Миша не дал её выбросить, и она до сих пор лежала у него в шкафу, на верхней полке, за коробками с конструктором.

— Да, — сказала я. — Которая ракету.

Он подумал.

— Тогда жалко, — сказал он и пошёл спать.

Глава вторая. Троекуровское

Семён хотел отменить Усть-Лугу. Он сказал это в понедельник утром, стоя в дверях ванной с зубной щёткой во рту, и я сказала, что не надо, что это глупо, что он видел Дашу четыре раза в жизни и что немецкие краны, застрявшие на таможне, важнее, чем его рука у меня на локте, которую я и так чувствую, даже когда его нет рядом. Он задержал на мне взгляд, как смотрят на человека, который говорит правильные вещи слишком гладко, но спорить не стал. Он улетел в понедельник вечером. Во вторник в девять утра Толя, наш водитель, уже стоял у крыльца с прогретой машиной и зонтом.

Ночью подморозило. Это был первый заморозок, ранний даже для этой осени, и трава на лужайке поседела, а в бочке под водостоком затянуло воду тонким, как слюда, ледком. Алиса разбила его пальцем, пока я застёгивала ей пальто, и сказала: «Смотри, стекло». Марьяна повела её к школьному автобусу, а Миша задержался на крыльце, посмотрел на моё чёрное платье и спросил, надолго ли я. Я сказала, что к вечеру вернусь. Он кивнул, как взрослый, которому сообщили расписание.

По дороге я смотрела в окно. Толя не включал радио: он вообще был человек деликатный и, кажется, считал, что в машине у хозяев надо молчать так же, как в церкви. Рублёв-

ка, потом Кутузовский, потом Минское шоссе, потом поворот. Небо было глухого серого цвета, без единого просвета, как плохо проклеенная бумага, на которой всё расплывается. Я думала о том, что не была на похоронах восемь лет, с тех пор как хоронили Аду Борисовну, нашу преподавательницу. Тогда мы тоже собирались все, и тогда тоже был октябрь.

* * *

Церковь на Троекуровском маленькая, белая, с зелёным куполом, и в то утро вокруг неё стояло столько машин, что Толе пришлось высадить меня у ворот и уехать на дальнюю стоянку. Я пошла по аллее одна. Под ногами хрустел гравий, на берёзах висели последние жёлтые листья, мокрые, тяжёлые, и время от времени один из них отрывался и падал отвесно, без всякого кружения, как падает лист бумаги, на который пролили воду.

У входа в церковь стояли женщины.

Сначала я увидела только черноту — плотную, неподвижную, на фоне белой стены. Потом стала различать лица. Я знала почти всех.

Вот Катя Новикова — старше меня на шесть лет, в Доме мы её звали «Катька-мама», потому что она заплетала младшим косы и отбирала у них сладкое перед ужином. Вот Оля Мельникова, с которой мы три года сидели за одной партой на немецком и которая играла на скрипке так, что Ада Борисовна однажды заплакала. Вот Ира и Марина Вороновы — «сёстры Вороновы», как их все называли, хотя сёстрами

они не были, а были двумя девочками из разных выпусков, которые с разницей в пять лет вышли замуж за двух братьев Вороновых и с тех пор ходили всюду вместе, словно их родство было настоящим. Вот Полина Ланская, тихая и пугливая. Вот Настя Мирская. Вот Лиза. Вот Аня Корф. Вот ещё одна, и ещё одна, лица, которые я помнила детскими — с бантами, с брекетами, с прыщами, со слезами из-за двоек по алгебре, — а теперь видела взрослыми, ухоженными, в хороших пальто.

Они меня тоже узнавали. Кто-то обнимал коротко и крепко, не говоря ни слова. Катя притянула меня к себе — от неё пахло, как двадцать лет назад, ванильным печеньем и детским кремом — и прошептала мне в волосы: «Сашка, ну что же это такое, а?» Я сказала, что не знаю. Она сказала: «Вот и я».

Были там и другие — женщины, которых я не знала или знала плохо: стипендиатки фонда из других программ, сотрудницы, преподаватели. Несколько девочек-студенток из общежития на Бережковской сбились в стайку у ограды, все в одинаковых тёмных куртках. Две пожилые дамы из попечительского совета. Но нас, из Дома, было больше всех. Я потом посчитала. Нас было двадцать шесть.

Внутри было тесно и жарко от свечей. Гроб стоял посередине, открытый, и вокруг него было столько белых цветов — лилий, роз, хризантем, — что запах стоял тяжёлый и сладкий, как в оранжерее, где не открывают окон. Я встала у сте-

ны, рядом с Олей, и какое-то время не могла заставить себя посмотреть.

Потом посмотрела.

Даша лежала в белом. Лицо у неё было хорошо загримировано: следов удара почти не было видно, только левая скула казалась чуть шире правой, словно она немного повернула голову, чтобы что-то расслышать. Волосы были убраны назад, гладко, и это было неправильно: Даша никогда в жизни не убирала волосы гладко, она их взбивала, лохматила, красила то в рыжий, то в чёрный, то в какой-то невозможный пепельный, и Ада Борисовна говорила ей, что она похожа на ведьму из немецкой сказки, а Даша отвечала, что так и задумано. Сейчас она была похожа на кого-то другого. На хорошую девочку.

Руки у неё были сложены на груди, и на безымянном пальце правой руки белела полоска там, где пять лет назад было кольцо. Пять лет, а полоска не загорела. Наверное, она не ездила на юг. Или носила перчатки. Или кольцо было снято не пять лет назад, а позже.

Шея была открыта. Кулона на ней не было.

Я заметила это сразу, потому что это первое, на что мы смотрим друг у друга, — машинально, как смотрят на обручальное кольцо. Серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле. Нам их вручали в семнадцать лет, каждой в свой день рождения, и почти все носили их не снимая — не потому, что так требовали, никто ничего не требовал, а

потому что это было наше, единственное, что было только наше. Я посмотрела вокруг: у Кати под воротом блузки поблёскивала тонкая цепочка; у Оли кулон лежал поверх чёрного свитера, и она, кажется, этого не замечала; у Полины он был на браслете: она когда-то говорила, что цепочки её душат. У Даши не было ничего. Я подумала, что она сняла его давно, тогда же, когда перестала брать трубку, и что я об этом ничего не знала, потому что не видела её близко пять лет.

Отпевал молодой священник с усталым лицом. Хор пел хорошо. Я стояла и не слушала слов, а смотрела, как не колеблясь горят свечи в руках у женщин и как воск стекает по пальцам, и никто не морщится. Никто не плакал вслух. Катя вытирала глаза платком, Оля стояла с закрытыми глазами, Полина беззвучно шевелила губами — молилась или повторяла за хором. Ира Воронова держала Марину за руку. Все стояли прямо. Я вдруг вспомнила, как Ада Борисовна учила нас — нам было лет по четырнадцать, был такой урок, назывался он скучно, «культура общения», — что горе не должно становиться обязанностью для окружающих. «Если вы плачете так, что вас нужно утешать, — говорила она, — вы забираете у людей силы, которые нужны им самим. Плачьте так, чтобы рядом с вами было легче». Тогда это казалось мне благородным. И сейчас казалось. Но я посмотрела на ровный строй чёрных спин, на свечи, которые не дрожали, и подумала, что со стороны мы, наверное, похожи не на подруг, а

на делегацию.

Мысль была неприятная, и я её прогнала.

* * *

Елена Аркадьевна Вольская стояла у самого гроба, в первом ряду, вместе с Майей. Я видела её со спины: прямая, невысокая, в сером пальто, с серебряными волосами, уложенными низко на затылке. Ей было семьдесят два года, и со спины ей можно было дать пятьдесят. Когда она повернулась, чтобы поставить свечу, я увидела её лицо — сухое, с тонкими губами и очень светлыми глазами, — и в этом лице не было ничего, кроме усталости и сосредоточенности, как у человека, который хорошо делает тяжёлую работу.

Майя плакала. Она плакала беззвучно, не вытирая слёз, и я впервые видела, как Майя плачет от горя. Ей было пятьдесят пять, у неё были тёмные волосы с одной седой прядью надо лбом, которую она никогда не закрашивала, и прямая спина — та самая, какой она добивалась и от нас. Майя учила нас дышать, говорить, держать паузу. Майя забирала меня из школы, когда я болела, сидела у моей постели, когда у меня в двенадцать лет была скарлатина, и читала мне вслух «Сагу о Форсайтах»; я ничего не понимала, но засыпала под её голос. Майя была моим опекуном по документам, пока мне не исполнилось восемнадцать. Не по документам — дольше.

После отпевания, когда гроб понесли к выходу, она нашла меня в толпе и обняла. Обнимала долго.

— Сашенька, — сказала она. — Ты пришла.

— Конечно.

— Без Сёмы?

— Он в Усть-Луге. Он хотел отменить.

— Правильно, что не отменил. — Она посмотрела мне в лицо, как смотрела, когда я была маленькая, — проверяя, нет ли температуры. — Ты не спала.

— Немного.

— Немного — это ничего. Пойдём. Елена Аркадьевна хотела тебя видеть.

Мы пошли за гробом по аллее. Впереди несли венки: от фонда, от «Лайпита», от школы, где учился Тимофей, от кого-то ещё. Гравий хрустел, с берёз падали листья. Где-то далеко, за деревьями, гудело шоссе, и от этого гула тишина на кладбище казалась ещё глубже, словно мы шли по дну.

Елена Аркадьевна шла впереди одна. Потом замедлила шаг, и мы с Майей её догнали.

— Саша, — сказала она и протянула мне руку. Рука у неё была сухая, лёгкая, в тонкой серой перчатке. — Спасибо, что приехала.

— Здравствуйте, Елена Аркадьевна.

Она заговорила, глядя вперёд, туда, где покачивался над головами носильщиков светлый гроб:

— Она всегда торопилась. С десяти лет. Ей всё нужно было сразу — понять, доказать, получить, бросить. Я однажды ей сказала: Даша, у тебя впереди шестьдесят лет, куда ты спе-

шишь? Знаешь, что она ответила? «А вы откуда знаете, что шестьдесят?» Ей было двенадцать.

— Она была очень умная, — сказала я.

— Она была очень умная, — повторила Елена Аркадьевна. — Умнее многих. Умнее, может быть, всех вас. Но ум — это ещё не всё, что нужно человеку, чтобы жить. Чтобы уцелеть, если точнее. Нужно ещё уметь ждать. А этому она так и не научилась.

Она сказала это без упрёка, с грустью. Шла, чуть опираясь на руку Майи, и смотрела прямо перед собой, и я подумала, что она похоронила уже многих — родителей, друзей, кого-то из своих девочек, — и что для неё это не первый такой октябрь.

— Как ты? — спросила она, не поворачивая головы. — Как дети? Как Семён?

— Хорошо. Семёна назначают генеральным в «Транс Логистикс». С января.

— Я слышала. Сергей Андреевич наконец решился. Это хорошо. Это правильно. Передай ему мои поздравления. И Семёну.

— Передам.

— И береги себя, Саша. Ты бережёшь всех — детей, Семёна, чужие листы у себя в мастерской, — а себя в последнюю очередь. Я тебе это говорю с тех пор, как тебе было двенадцать.

— Я знаю.

— Знаешь, а не делаешь. Вы все такие.

* * *

У могилы стоял Салтыков.

Я видела его раньше, в церкви, — он стоял у правого клироса, рядом с сыном, высокий, грузный, в распахнутом пальто, — но там было тесно, и я не подходила. Теперь он стоял у края ямы, и рядом с ним, прижавшись к его боку, стоял Тимофей. Мальчику было десять, он был в тёмно-синем пальто с пуговицами в два ряда и смотрел вниз, в яму, не отрываясь, как дети смотрят на то, чего не понимают, но боятся пропустить.

Арсению Анатольевичу Салтыкову было сорок четыре года. Я помнила его по их свадьбе — громкого, весёлого, с широкими жестами, похожего на большого рыжего пса, который сбивает людей с ног от радости. Даша смеялась над ним и звала его «мой медведь». Он строил дома — много домов, целые кварталы, — и «Лайпит» был одной из тех компаний, чьи рекламные щиты стоят вдоль всех шоссе: «Ваш дом. Ваш выбор». Сейчас он был похож на человека, который трое суток не спал и не ел и держится на ногах только потому, что рядом сын.

Гроб опустили. Священник прочитал последнее. Люди стали подходить и бросать землю. Я взяла горсть — земля была холодная, тяжёлая, глинистая, с мелкими камешками, — и бросила, и услышала, как она стукнула о крышку. Потом встала у чужой ограды, под старой липой.

Салтыков подошёл ко мне сам. Отправил Тимофея к какой-то женщине в сером и пошёл между могилами — тяжело, неловко, задевая полами пальто мокрые кусты.

— Вы Саша, — сказал он. — Морозова.

— Да. Примите мои…

— Да-да. — Он сунул руки в карманы, вынул, снова сунул. — Я вас по фотографиям помню. Со свадьбы. Она мне показывала. Говорила: вот это Сашка, вот это моя Сашка.

Я не знала, что сказать, и ничего не сказала.

— Она про вас говорила. Последний год особенно. Говорила, что вы единственная, кто ей никогда не врал.

— Мы не общались пять лет.

— Ну, может, поэтому. Слушайте. Я не знаю, зачем я это говорю. Мне просто не с кем. Эти все, — он мотнул головой в сторону женщин у могилы, — они хорошие, они все звонили, все предлагали помощь, все такие… правильные. Я с ними не могу. А вы вроде как… Она не спала, вы знаете?

— Нет.

— Последний год. Совсем не спала. Два часа, три. Пила таблетки, не помогало. Я ей говорил: Даша, сходи к нормальному врачу, а не к этим, — он снова мотнул головой, но на этот раз неопределённо, — она говорила, что ходила. Что ей сказали — это пройдёт. Тимоха мне рассказывал, что мама ночами сидит на кухне и пишет что-то. В тетради. Он думал — письма.

— Кому?

— Не знаю. Может, вам. Вы ничего не получали?

— Сообщение, — сказала я. — В субботу. Ночью.

Он вздрогнул.

— Что там?

Я сказала. Он слушал, сжав челюсти.

— Это про нас, — сказал он наконец глухо. — Про суд. Про отца моего. Она его ненавидела. — У него задрожал подбородок, и он сжал его ладонью. — Я ей говорил: давай договоримся, давай без судов. Пусть Тимоха сам выберет, когда подрастёт. Она не хотела. Говорила: он не выберет, его научат выбрать. Я не понимал, о чём она. Я и сейчас не понимаю.

Женщина в сером подошла с Тимофеем и что-то сказала ему негромко. Салтыков взял сына за руку.

— Поминки на Красной Пресне, в ресторане. Галина Петровна вам скажет адрес. — Он кивнул на женщину в сером. — Приходите. Пожалуйста.

И пошёл, ссутулившись, к выходу, а Тимофей шёл рядом и, оглядываясь, смотрел на меня через плечо, серьёзно, без выражения.

* * *

Я ещё немного постояла под липой.

Люди расходились не сразу. Женщины из фонда собирались группками, разговаривали вполголоса. Елена Аркадьевна стояла у свежего холмика, засыпанного цветами, одна, сложив руки. Майя ждала её поодаль.

И тут я увидела человека у ограды.

Он стоял за пределами нашей толпы, у границы участка, где начинались чужие старые могилы с покосившимися крестами и ржавыми оградками. Высокий, худой, в тёмной куртке, без шапки и без зонта, хотя начинало моросить. Он не был похож ни на кого из нас. Не родственник, не сотрудник фонда, не охранник Салтыкова: те стояли у машин, широкие, в одинаковых пальто. Этот стоял один и смотрел на женщин у могилы. Не на холмик, не на цветы — на женщин. Время от времени он что-то записывал в маленький блокнот, держа его у груди, чтобы не намочило.

Я подумала, что это журналист. После Дашиного развода о ней много писали, и теперь кто-то хотел написать про её смерть. Я подумала, что это отвратительно, и что надо сказать охране, и что, наверное, не надо, потому что журналисты имеют право стоять у ограды кладбища, как и все остальные.

Я сделала к нему шаг.

Он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Посмотрел внимательно, без любопытства и без смущения, как смотрят на номер дома, сверяя его с адресом. Потом закрыл блокнот, сунул его в карман и пошёл по аллее к выходу, не оглядываясь.

И вот тогда, глядя ему в спину, а потом снова на женщин у могилы, я увидела то, чего никогда раньше не видела.

Катя Новикова из Вологды — жена Аркадия Новикова,

у которого фармацевтическая компания и дом в Жуковке. Оля Мельникова из Сызрани, у которой мать работала на заводе и пила, — жена Дениса Мельникова, банк, три поколения банкиров, дед — замминистра финансов. Ира и Марина Вороновы, одна из Курска, другая из какого-то посёлка под Тамбовом, — жёны двух братьев Вороновых, сеть клиник, недвижимость, что-то в Казахстане. Полина Ланская из детского дома в Ярославле — жена Ланского-младшего, и я даже не помнила, чем занимаются Ланские, но знала, что у них яхта, которую однажды показывали в новостях. Настя Мирская. Лиза. Аня Корф. Я шла по лицам, одно за другим, как по строчкам в описи, и почти против каждого имени стояла фамилия, которую знала вся Москва. Почти против каждого.

Я — дочь швеи из полуподвала в Текстильщиках — жена Семёна Вейна.

Даша — дочь женщины, лишённой родительских прав в Череповце, — бывшая жена Арсения Салтыкова.

Раньше я никогда не видела в этом ничего, кроме того, что видели все: нас хорошо учили, нам дали образование, языки, музыку, вкус, нас научили держаться, и мы попали в круг, где встречают таких мужчин, и вышли за них, и что тут странного. Это же не закономерность, это просто жизнь. Я сто раз слышала, как об этом говорили с гордостью: Елена Аркадьевна, попечители, журналисты, которые писали о фонде: «Выпускницы „Этели“ — врачи, искусствоведы, юристы, матери прекрасных семей». Я и сама так думала. С гордостью.

А теперь стояла под липой на Троекуровском, и у меня в голове была не гордость, а опись. Двадцать шесть женщин. Двадцать шесть фамилий. И я не могла вспомнить ни одной из нас, которая вышла бы замуж за учителя.

Наверное, такие были. Наверное, я просто не помнила. Наверное, они не пришли: живут в других городах, работают, у них нет денег на похороны в Москве. Наверное.

— Саша. — Майя стояла рядом, держала надо мной зонт. Я не заметила, когда она подошла. — Ты вся мокрая. Пойдём, Елена Аркадьевна уезжает, тебя довезти?

— Меня Толя ждёт.

— Тогда иди к Толе. — Она вгляделась в меня. — Что с тобой?

— Ничего, — сказала я. — Я просто считала.

— Что считала?

— Нас.

Майя нахмурилась, и мне показалось, что она сейчас спросит ещё, но она не спросила. Она взяла меня под руку и повела к выходу, держа зонт так, чтобы мне не капало за воротник, и говорила по дороге что-то ласковое про то, что Даше теперь спокойно, что Даша наконец выспится, что мы все должны поддерживать друг друга, особенно сейчас, — и я слушала её голос, и он действовал на меня так же, как всегда, с восьми лет: как тёплая вода, в которую опускаешь замёрзшие руки. Становилось легче.

У ворот я обернулась. Женщины в чёрном садились в ма-

шины. Водители открывали им двери, держали зонты. Двери мягко захлопывались — тяжёлые, глухие звуки дорогих машин, — и машины одна за другой выруливали на аллею и уходили к шоссе, медленно, с включёнными фарами, как кортеж.

Глава третья. Коробка

Поминки были в ресторане на Красной Пресне, в отдельном зале на втором этаже, где стены были обиты тёмно-зелёной тканью, а на окнах висели тяжёлые шторы с кистями, как в провинциальном театре. Салтыков снял весь этаж. Столы стояли буквой «П», на белых скатертях — кутья, блины, кисель, водка в запотевших графинах, и всё это вместе — скатерти, графины, шторы — выглядело так, будто кто-то очень старался сделать правильно, по обычаю, и не знал как.

Я не хотела ехать. Я сказала Толе: домой. Потом, на светофоре у Кутузовского, сказала: нет, на Пресню. Толя ничего не спросил и перестроился.

Народу было меньше, чем на кладбище. Елена Аркадьевна не поехала: у неё разболелась голова, и Майя повезла её домой. Многие из наших тоже уехали: у кого дети, у кого врачи, у кого благотворительный обед в два часа, который нельзя пропустить. Остались Катя, Оля, сёстры Вороновы, ещё человек пять. Остались какие-то мужчины из «Лайпита», в одинаковых костюмах, с одинаково скорбными лицами. Остались двое Дашиных адвокатов: я узнала их по фотографиям из новостей. Остались старые Салтыковы: отец, Анатолий Ефимович, сухой, лысый, в золотых очках, и его жена, которая весь обед просидела, глядя в одну точку. Анатолий Ефимович встал, произнёс короткую речь о том, что

Дарья была матерью его внука и что семья всегда будет помнить её с уважением, и сел. «С уважением» он сказал так, как это пишут в конце делового письма, перед подписью.

Я сидела между Катей и Олей и ела блин, который не могла проглотить.

— Ты видела? — шепнула Катя. — Старший Салтыков. Пришёл. Я думала, не придёт.

— Почему?

— Ну как почему. Он же её… — Катя замялась. — Ну, они же судились. Он через своих людей её в психушку хотел упечь, ты не знала? В прошлом году. Чтобы признать неспособной воспитывать. Не получилось. Мне Ира рассказывала, а Ире — её свекровь, а свекровь у Иры с Салтыковой-старшей в одном фонде, по онкологии.

— Катя, — сказала Оля.

— Что «Катя»? Я же только тебе. И Сашке.

Я вспомнила Дашино сообщение. «Не спрашивай, что они сделали». Вот, значит, что они сделали. Хотели признать её сумасшедшей. По закону. Через суд, через экспертизу, через сорок юристов. И у них не получилось. Я посмотрела на старика в золотых очках, который аккуратно, мелкими кусочками ел блин, и подумала, что ненавижу его. Это было простое, ясное чувство, и я ему почти обрадовалась.

* * *

Галина Петровна подошла ко мне, когда начали расходиться.

Это была женщина лет шестидесяти, маленькая, плотная, с короткой стрижкой и красными, натруженными руками, в сером трикотажном костюме, который на ней сидел так, будто его выдали под расписку. Она работала у Даши пять лет, с самого развода: сначала домработницей, потом, когда Даша перестала справляться, всем сразу. Тимофей звал её «Галя» и держался за неё на кладбище, как держатся за перила.

— Вы Александра? — спросила она. — Сергеевна?

— Да.

— Можно вас на минутку?

Мы вышли на лестничную площадку. Там было окно на улицу, и внизу, на Пресне, ехали машины, и шёл мокрый снег — первый в этом году, редкий, неуверенный; он таял, не долетев до асфальта.

— Дарья Андреевна мне летом одну вещь оставила, — сказала Галина Петровна. — Коробку. Сказала: Галя, если со мной что, отдашь Саше. Саше Морозовой. Я говорю: что с вами может случиться? А она смеётся. Говорит: ну мало ли, Галя, вдруг меня похитят инопланетяне. — Галина Петровна шмыгнула носом. — Я думала — шутит. Она всегда так шутила.

— Коробка здесь?

— В машине у меня. Я её в машину с утра положила, чтобы не забыть. Арсению Анатольевичу не говорила. Она просила — никому, только вам. Я не открывала. Вы не думайте.

— Я не думаю.

Машина у неё была старая «Шкода» с подмосковными номерами, и коробка лежала на заднем сиденье, рядом с детским креслом, которое Тимофей давно перерос. Обычная картонная коробка из-под чего-то бытового — на боку полустёртая надпись «Филипс», — заклеенная крест-накрест коричневым скотчем. На крышке чёрным маркером было написано: «САШЕ». И ниже, мельче: «не реви».

Почерк был Дашин. Я узнала бы его где угодно: крупные угловатые буквы с наклоном влево, которые Ада Борисовна называла «почерком человека, который пишет против ветра». «Р» и «о» у неё никогда не соединялись. Палочка у «д» уходила вниз, под строку, длинным хвостом.

Я взяла коробку. Она была не тяжёлая — килограмма два, может, три.

— Спасибо, Галина Петровна.

— Вы её любили? — вдруг спросила она.

— Да.

— Вот и она вас, — сказала Галина Петровна, кивнула сама себе и пошла обратно, наверх, к Тимофею.

* * *

Толя положил коробку в багажник. Я попросила переложить её на сиденье рядом со мной. Всю дорогу до Раздоров я держала на ней руку, как держат руку на спине у спящей собаки, и не открывала.

Дома было тихо. Марьяна забрала Алису из школы, накормила, и они сидели наверху, в детской: я слышала, как Ма-

рьяна читает вслух что-то про Муми-троллей, а Алиса время от времени перебивает её вопросами. Миша до семи был на футболе: у них была игра. Я сказала Марьяне через дверь, что вернулась, что поужинаю потом, и пошла в мастерскую.

Мастерской я называю маленькую комнату на первом этаже, за кухней, с окном на север. Когда мы покупали дом, там была гладильная. Я поставила туда большой стол, лампу с увеличительным стеклом, стеллаж с папками, сушильную сетку, пресс и — моя гордость — лёгкий стол с подсветкой снизу, на котором можно смотреть бумагу на просвет. Здесь я работаю, когда не езжу в Лаврушинский: подклеиваю надрывы, снимаю старые наклейки, промываю пожелтевшие листы, пока они не начинают дышать. Это единственная комната в доме, куда без стука не входит никто, даже Семён.

Я поставила коробку на стол и включила лампу. Взяла скальпель. Скотч поддался легко: он был старый, пересохший, клей уже не держал.

Сверху лежала записка. Лист из блокнота в клетку, сложенный пополам.

Сашка. Это не завещание, не пугайся. Просто я не знаю, кому ещё. Посмотри, когда будет время. Не сразу. И не показывай М. Д.

М. — это Майя. «Не показывай М.» Даша поссорилась с Майей пять лет назад, когда разводилась. Подробностей я не знала, знала только, что был какой-то разговор, после которого Даша перестала отвечать на звонки и фонда, и Майи,

и вообще всех нас. Майя никогда об этом не рассказывала, и я не спрашивала. Это было их дело. Записку я положила на край стола.

Под ней были фотографии.

Их было много, штук шестьдесят или семьдесят, старые, бумажные, перехваченные аптечной резинкой, которая лопнула, когда я попыталась её снять. Я разложила их на столе. Почти все — наши. Пречистенка: сад, беседка, лестница с чугунными перилами, наша комната с двумя кроватями и общим шкафом, на дверце которого Даша нарисовала фломастером череп, и его потом три дня не могли отмыть. Валдай: озеро, причал, сосны, деревянная веранда, на веранде — длинный стол, за столом мы в одинаковых белых футболках, двенадцать девочек, и в центре Майя, молодая, в соломенной шляпе, читает нам вслух. Я нашла себя: третья слева, коленки подтянуты к подбородку, рот приоткрыт. Мне лет тринадцать. Я смотрю на Майю. Даша сидит с краю, отвернувшись от стола, и смотрит прямо в камеру, прищурившись, без улыбки, с таким видом, будто знает про фотографа что-то, чего он сам о себе не знает.

На обороте Дашиной рукой, карандашом: *Валдай, 2003. Смена «Тургенев». Майя читает «Первую любовь». Не самый удачный выбор, если подумать.*

Я засмеялась. Вслух, одна, в пустой мастерской.

Я стала переворачивать фотографии одну за другой. Почти на всех на обороте были пометки. Даты, места, имена.

Пречистенка, 2001. Ада Борисовна учит нас есть артишок. Зачем???Флоренция, 2006. Уффици. Сашка полчаса стоит у Боттичелли и плачет, а я хочу в туалет.Пречистенка, 2005, мой день рождения. Е. А. дарит мне книгу. Какую — не помню. Стыдно.Валдай, 2004. Майя и Катя. Катя ещё не вышла замуж. Катя ещё смешная.

На одной фотографии не было никого. Только наш сад на Пречистенке, зимой, в снегу, и в глубине — старый особняк с жёлтыми окнами. Снято, наверное, с улицы, через ограду. На обороте было одно слово, написанное не карандашом, а чернилами, тщательно, печатными буквами, как пишут слово на чужом языке, которое боятся переврать:

ēþel

Я знала английский, немецкий, французский, читала по-итальянски. Этого слова я не знала. Буква «þ» — «торн», старая руна, читается как «th»; в английском её уже лет пятьсот как не пишут. Чёрточка над «е» — знак долготы. Что-то древнеанглийское. Я прочитала слово вслух и услышала: «Этель». Это было похоже на Дашу: написать название фонда так, будто это древнее слово, и подписать им наш сад. Она увлекалась всем на свете на две недели — рунами, каббалой, йогой. Надо будет посмотреть в словаре, подумала я.

Я отложила фотографию в сторону. Потом взяла её снова и положила отдельно, рядом с запиской.

* * *

Под фотографиями лежали анкеты.

Я узнала их сразу — по бумаге. Плотная, чуть желтоватая, с тиснёным клевером в левом верхнем углу. Такие анкеты мы заполняли в Доме каждый сентябрь, первого числа, после линейки. Это была традиция, такая же, как пирог с яблоками на Покров и концерт на Масленицу. Майя раздавала листы, и мы садились в библиотеке за длинный стол и писали, не торопясь, сколько хотим. Вопросы каждый год были одни и те же. *Мой любимый писатель. Моя любимая музыка. Чего я боюсь. Что я люблю больше всего. Что я буду делать через год. Какой я буду в тридцать лет.* Потом Майя собирала листы и уносила, и мы никогда больше их не видели. Она говорила, что хранит их для нас и что когда-нибудь, когда нам будет тридцать, отдаст каждой её анкеты, и мы посмеёмся. Когда мне исполнилось тридцать, она не отдала, а я не напомнила. Забыла.

Здесь их было штук десять. Дашины — я узнала почерк. И мои.

Мои.

Я взяла лист. *Морозова Александра, 12 лет. 1 сентября 2002 г.*

Мой любимый писатель: Чехов. (И ещё Дюма, но это не считается.)

Моя любимая музыка: Шопен, ноктюрны. Особенно тот, который играла Майя на Новый год.

Чего я боюсь: темноты в подвале. И что мама меня не узнает, когда мы встретимся.

Я положила лист на стол лицом вниз, посидела, потом перевернула и стала читать дальше.

Что я люблю больше всего: когда все дома и пахнет пирогом.

Что я буду делать через год: учить итальянский.

Какой я буду в тридцать лет: у меня будет дом с садом и двое детей, мальчик и девочка. Я буду реставратором или искусствоведом. Мой муж будет добрый и немножко грустный, и я буду его смешить.

Я перечитала последнюю строчку три раза.

Потом взяла анкету за следующий год, тринадцать лет, — тот же вопрос, почти тот же ответ: дом, сад, двое детей. Четырнадцать — дом, сад, двое детей, «буду работать в музее». Пятнадцать — «не знаю, может быть, уеду в Италию». Шестнадцать — «дом. Не знаю. Наверное, дети».

Дом с садом. Мальчик и девочка. Муж, добрый и немножко грустный. Я не помнила, что писала это. А всё сбылось — до мелочей, до грусти.

А потом я подумала: ну и что? Что ещё может написать двенадцатилетняя девочка-сирота, которая живёт в чужом доме, пусть даже в прекрасном чужом доме? Она напишет: у меня будет свой дом. Свой сад. Свои дети. Это пишет каждая. Я взяла Дашину анкету — двенадцать лет, годом раньше, — чтобы проверить, и прочитала:

Какой я буду в тридцать лет: лётчицей. Или никем. Лучше никем, никем проще.

Я засмеялась второй раз. Не так громко.

Дашины анкеты тоже менялись. В тринадцать: «буду жить одна в Париже и курить». В четырнадцать: «не скажу». В пятнадцать: «замужем, наверное, как все. Ха-ха». В шестнадцать — пусто. Только прочерк, длинный, жирный, с нажимом, чуть не порвавший бумагу.

Как эти листы попали к Даше? Майя хранила их в фонде. Значит, Даша их взяла. Попросила? Или взяла сама, без спроса? Это было бы на неё похоже. В четырнадцать она так аккуратно вскрыла шкаф завхоза, что никто не заметил, а конфискованный у неё плеер потом месяц лежал у меня под подушкой.

* * *

Дальше были письма.

Письма Майи к Даше. Я узнала почерк: округлый, учительский, с длинными петлями у «у» и «д». Пять писем, все за 2019 год, все в конвертах, некоторые невскрытые. Я не стала читать невскрытые. Открыла одно, уже вскрытое, — май девятнадцатого.

Дашенька. Я не знаю, прочтёшь ли ты это, но я буду писать, пока не ответишь. Мы не сердимся. Никто не сердится. Ты сделала то, что должна была, и сделала правильно, и Е. А. тоже так считает, хотя тебе может показаться иначе. За девочек, которые придут после тебя, — спасибо. Тебе сейчас кажется, что тебя обманули. Тебя не обманывали, Даша. Тебе никогда никто не лгал. Ты просто устала,

и ты одна, и тебе страшно. Возвращайся, когда сможешь. Мы тебя ждём. Тимоше — от меня. М.

Я положила письмо обратно в конверт.

Даша разводилась в девятнадцатом. «Ты сделала то, что должна была» — значит, развод. Майя её поддерживала. А «за девочек, которые придут после» — значит, после развода она что-то перевела фонду. Очень на неё похоже: швырнуть деньги и хлопнуть дверью. «Тебе кажется, что тебя обманули» — Салтыков? Салтыковы? Наверное, Даше казалось, что её обманул муж. Это было нормальное письмо, доброе, материнское, какое Майя могла бы написать и мне, если бы я развелась. Я представила, как Даша получает эти письма и не вскрывает, — гордая, злая, одинокая, — и мне стало больно за них обеих.

На самом дне коробки лежала тонкая картонная папка, серая, с завязками. Обычная канцелярская папка, «Дело №», какие продают в любом магазине. В ней было три листа.

Первые два — ксерокопия. Машинопись, не очень чёткая: копию снимали с копии, буквы расплылись, местами пропечатался фон. Столбец фамилий, справа — даты. Ни заголовка, ни шапки, ни печати, ни подписи. Просто список, словно вырванный из середины чего-то большего.

Я стала читать.

АБРАМЦЕВЫ — 03.1998

МЕЛЬНИКОВЫ — 09.2007

ГУРВИЧ — 11.1996

ЗИМИНЫ — 05.2003
КОРФ — 04.2011
ЛАНСКИЕ — 02.2010
МИРСКИЕ — 10.2008
РЕМЕЗОВЫ — 06.2005
САЛТЫКОВЫ — 01.2008
ВОРОНОВЫ — 09.2004
НОВИКОВЫ — 12.2003

Фамилий было тридцать четыре. Я пробегала их глазами, и некоторые ничего мне не говорили — Абрамцевы, Зимины, ещё несколько, — а некоторые говорили слишком много. Мельниковы. Вороновы. Новиковы. Ланские. Корф. Мирские. Салтыковы.

На втором листе, ближе к концу:

ВЕЙН — 11.2009

Я положила лист на стол и выпрямилась.

Ноябрь две тысячи девятого. Мне было девятнадцать. С Семёном мы познакомились в сентябре двенадцатого — почти на три года позже. Ни в две тысячи девятом, ни в десятом, ни в одиннадцатом я его не видела, не слышала его фамилии, не знала, что существует такая семья: Вейны, «РузМакс», Николино. То есть, наверное, слышала — фамилия была известная, — но не запоминала.

Я снова взяла лист и посмотрела его на свет. Обычная офисная бумага, восемьдесят граммов, никаких водяных знаков. Ксерокопия, и не первая: тонер зернистый, края букв

поплыли, так бывает, когда копируют с копии на старом аппарате. Ничего это не значило.

Список фамилий. Многие — фамилии мужей наших девочек. Даты — разные, с девяносто шестого по одиннадцатый. Что это может быть? Список попечителей. Список гостей на каком-то приёме. Список жертвователей с датами первых пожертвований. Список семей, которым фонд рассылал приглашения на вечера. Фонд жил на пожертвования, у фонда был попечительский совет, и, конечно, у фонда были списки — кто, когда, сколько. Мельниковы — попечители, я точно знала. Вороновы — тоже. Новиковы каждый год давали деньги на летний лагерь. И Вейны тоже помогали: Семён каждый год переводил деньги, и Софья Львовна сидела в попечительском совете, давно, сколько я себя помнила в этой семье.

Значит, это список попечителей. Значит, это даты, когда они впервые что-то дали. Значит, Вейны впервые что-то дали фонду в ноябре девятого года. Это легко проверить. Можно спросить у Софьи Львовны.

Я сидела и чувствовала, как отпускает — по сантиметру, как отпускает затёкшую ногу.

Конечно, это совпадение. Девочки из фонда выходили замуж в семьи попечителей — потому что где ещё им было встретить этих мужчин? На вечерах фонда, на благотворительных аукционах, на выставках, которые фонд устраивал вместе с музеями. Это был круг. Это не заговор. Даже логич-

но. Даже, если подумать, трогательно.

Только я познакомилась с Семёном не на вечере фонда.

Третий лист в папке был пустой. Чистый лист той же офисной бумаги, без единой буквы. Я повертела его, посмотрела с обеих сторон, на просвет — ничего. Лампу можно было опустить к самому столу и посмотреть лист в косом свете — так я смотрю каждый лист, который мне приносят. Я не стала. Зачем Даша положила в папку пустой лист? Может быть, случайно. Может быть, чтобы папка не казалась такой тонкой. Может быть, она собиралась что-то написать и не написала.

Я сложила всё обратно: список, пустой лист, папку. Письма Майи — в конверты. Анкеты — стопкой, мои отдельно, Дашины отдельно. Фотографии — в коробку, все, кроме одной, со словом «ēþel» на обороте; её я положила в ящик своего стола, под стопку японской бумаги.

Потом я заметила, что на дне коробки, в углу, под отогнутым картонным клапаном, лежит что-то ещё. Маленькое, твёрдое, завёрнутое в бумажную салфетку.

Я развернула салфетку.

Это был Дашин кулон. Серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле, на тонкой цепочке, которая спуталась в комок. Точно такой же, как мой. Я перевернула его, хотя знала, что увижу: на обороте у всех наших кулонов было выгравировано крошечное число, такое мелкое, что без лупы не разглядеть. Номер, сказали нам, когда вручали: каж-

дый кулон сделан на заказ, и у каждого свой номер, как у картины в каталоге. Я никогда не смотрела на свой. Он был просто мой.

Я поднесла Дашин кулон к лампе с увеличительным стеклом.

24.

Я сидела, держа на ладони холодный серебряный листок, и думала о том, что Даша сняла его не пять лет назад, а летом — потому что коробку она собрала летом. Сняла и положила на дно коробки для меня. Не выбросила, не продала — завернула в салфетку. И написала на крышке: «не реви».

Я не ревела. Я сидела в мастерской, в круге света от лампы, а за окном уже стемнело, и в стекле отражалась я сама — маленькая, сгорбленная над столом, с чужим кулоном в руке. Потом хлопнула входная дверь, Миша закричал из прихожей: «Мам, мы выиграли!» — и я спрятала кулон в карман, выключила лампу и пошла встречать сына.

Коробка

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.